

Виктор Кривулин

Дача Сталина близ Ливадии

В полусекретной милитарной темени
листвы южнобережной, послесталинской
вечнозеленый генератор времени
работает как прежде, по-стахановски.

Но чем ты объяснишь, дыша урывками,
нехватку воздуха и освещенье рваное?
Автодорожный щит с цитаткой липкою
насчет здоровья и образования

Зачем бросается в глаза твой? в сознании
зачем пятном жестяным отпечатался?...

Ограды санаториев, розарии,
и рая-лагеря площадка непочатая,

где юности кулак энергетический,
налитый кровью, точку приложения
нащупывает - и вслепую тычется
в автобус, в облако, в любую тень движения.

В цементе Кореиза дремлют хищники,
видя ленивые зрачки по траектории
паденья смоквы - силы эти вышние,
кошачьи связки, мускулы истории,

оцепенев от постоянного усилия,
легли на отдых возле дачи Сталина,
где не хватает воздуху на синее
теченье истины по стеклам мироздания.

И не прочней ли скального фундамента
/миропорядка, Ялтой утвержденного/
морская синева, упавши замертво
к ногам Хозяина, как будто побежденного

победами своими и ловушками?...
Но до сих пор достаточно лишь имени –
и мы дрожим в руках его игрушками
недетскими, расширенными, синими...

Всё гуще мгла махровая, курортная,
спортивными насыщенная стенами,
киноверчением, любовью, натюрмортами,
недавними словесными иконами.

Всё гуще крик созияния с Историей –
она во плоть лиющую вприснута,
держа в изнеможении... И скоро ли
прорвётся боль? сиянье хлынет изнутри.

Совсем иными заиграет гранями
игра ума, отбитый край Таврический,
с людьми свободными, с иллюзиями ранними,
вспелетенными в природу гармонически.

Январская программа

Январь. Около десяти.
Просыпаются, плача, дети за стенкой.
"Больно! – кричат, – больше не буду, пусти!"
Белые руки их держат. Поздно. Пора идти
в контору, где время само превращается в деньги
нищенские. Но если дотянем до четверга –
будет и в нашем доме вечер нескучный:
мерзлые яблоки, блоковская выюга,
слабо-серебряный шелест /фольга/,
рёв телевизора /из передачи научной
музыка/... Что они там завели?
Показали море, кулак цитадели мальтийской,
пушек медные спины, пылающие корабли –
всё это где-то в невероятной дали,

но ближе комнаты нашей. Угрожающе близко.

"Отчего на улице флаги с черной каймой?" –
спросит больной ребенок и, не дождавшись ответа,
глубже зароется в рокот пучин морской,
в жар средиземного лета.

Вещи мои

Вещи мои
ненавидят меня.
Покидают.

Голос.

Обрывается голос, и дальше приемник молчит.
телефонная трубка оглохла от шума
и далекого треска,
и даже диван развалился.

"Юлия", ложе любви!
Юного света в июле
давленье двойное
новозеленое.

Руины
совершеннее, чем новостройки,
человечнее, мягче, печальней,

ибо

их достраивает надежда.
Глубокое небо надежды
завершает

проваленную кровлю,
обрушенный угол,
недостающий волонт
коринфской корзины...

И с тайной целью –
стать –
раскаливаются, перегорают

вещи мои,
прерасные в замысле –
но чем неосуществимей,
тем выше

В Кировском районе

I.

Здесь пыльный сад похож на документы,
скрепленные печатью. И в саду
печально так... я выйду... я пройду
вдоль пережавленной ограды:
в каком-то пятилеточном году
перенесенная зачем-то
от Зимнего дворца в рабочую слободу,
Из Петербурга в сердце Ленинграда, –
она дошла до степени такой
убожества и запустенья,
что рядом с нею воздух заводской
как мимолетное виденье,
как гений чистой красоты...

2.

Бренные дома замученного цвета.
Слева пустыри, бетон, задворки автобаз –
даже сладко-пасмурное лето
в человечности не уличает вас,
да и люди здесь, как письма без ответа,
будто чем-то виноваты,
вечерами возвращаются с работы...

Вековечный транспорт, голос монотонный,
вызывающий поштучно, поименно
эти самые народные пенаты:
Оборонная, Зенитчиков, Портновой...
Край земли не за морем, не где-то –
вот он, край земли, у каждой остановки.
Выйти – всё равно что умереть,
в точку на листе миллиметровки,
в точку /не приблизить, но и не стереть!/,
обратиться в точку, выйдя из трамвая,
в собственной тени бесследно исчезая...

3.

Деревья утопшие в сером снегу
и две одиноких вороны.
Идея России – насколько могу
проникнуть сознанием за ровный,
открытый, казалось бы, даже врагу
остриженный холм уголовный, –
идея России не где-то в мозгу,
не в области некой духовной,
а здесь, на виду, в неоглядной глупи,
в опасном соседстве с душою,
не ведающей – где границы души,
где собственное, где чужое...

4.

Брошенные в траву
оранжевые велосипеды –
будто выросли наперекор естеству
из мичуринской почвы и свежей газеты
лучезарные срезы плодов
просвещения и прогресса

осенью, перед лицом холодов,
среди останков дачного леса,
где разбросаны корпуса
общежитий, и кооперативные башни
высоко уходят - за поворот колеса,
а там за шоссе, в заовражье...

Город, конечно, растет,
и становятся все неуютней
островки природы, в естественный круговорот
заключенные. Русское слово "спутник"
приложимо к чему угодно, даже ко мне,
когда я тляжу в окно и вижу:
оранжевые круги, велосипедист лежит на спине
в порыжелой траве совершенно рыжий,
тяжелое солнце прокатывается по нему
/только вчера из лагеря - завтра в школу,
низкое здание, похожее на тюрьму
за деревьями.../ Жалко, мешает штора
увидеть - какая откроется за углом
новая перспектива
дом,, наверное... что еще?... только дом.
Чудо - если нечистый клочок залива.

5.

Отчего же так пасмурно,
даже пускай и тепло -
но всегда неуютно, и словно бы в поисках паспорта,
запропастившегося как назло
в ту минуту, когда его требуют,
чтоб меня совместить навсегда
с неким "я", без которого не было б
ни жилья, ничего моего, ни следа?...
Ничего кроме света.
И свет, источаемый зданьями,
площадями, двойчаткой трамвайных путей,

сам не свой. Не совпал, Не находит себе оправданья:
"Я не здешний, - лепечет, - совсем не отсюда, ничей.."

Сегодня

1.

Сегодня Гумилев, а завтра Ходасевич...
И я умру, и я увижу свет,
в изданьи массовом рассеясь
по всей России предпоследних лет.
Я чуда жду. Все ждали - не затем ли,
что каждый новый день по-новому нелеп,
когда не зерна сеют в эту землю,
а черствые куски, позавчерашний хлеб.

2.

Что это?
Уже никакой Палестрина,
в уши втекая, как масло,
не в силах преобразить
внутренние пространства
в римскую базилику.

Я слушаю Гребенщикова,
чьи пальцы не пахнут ладаном.
Я на концерте Курехина
рыдаю, как Пастернак
над "Поэмою экстаза".

Бедные мы, бедные наши кумиры!
От музыки остается
одна свобода - не больше,
одна, только одна свобода
на этакую прорву людей!

3.

Попробуй-ка их зацепи.

Разговоры в поезде
с бывшим афганцем:

Вы за что воевали?
зачем?

Березы мелькают в окне.
Грязно-белые струйки,
слой гари и копоти...

Слушай,
убил бы
за такое!

Летят

небедные села, а все невеселые села.
Бутовые коттеджи на месте избушек,
да что поделаешь – дождь.

Куда его денешь?
чем застроишь?

4.

Боль без утоления. Вкус безумной соды.
Металлисты. Панки. Любера.
Спертым воздухом свободы
как дышать, когда еще вчера
было так просто, пусто и знакомо?...
Что ни слово – гулкий вестибюль,
и волна похмельного синдрома
на лице вахтера... Гули-гули-гуль,
голубиные нахолленные годы!
Вечно – то с мороза, то с дождя.

У дверей. На лестнице. Где-то возле входа -
не переступая, не входя.

5.

Где с интуристами трогался красный "Икарус",
и крутилась фарца, и по-царски ветшал Петроград -
вот уж не чаял увидел веселую ярость
экологических львят.

Рваная площадь похожа на сорванный парус.
Облаками пронизанный, взорванный, бывший фасад...
Наши слова, населенные множеством пауз,
здесь, на ветру, не звучат.

Там, наверху, завязались иные пространства.
Не успеваю следить - изменяется внутренний строй
речи. И та, что я слышу, - прекрасна!
Жаль - не моя, но и я уже больше не свой.

Я живу на окраине света,
где кончаются судьбы всего,
что охаяно или воспето,
что столица, поселок, село -
где внезапный сквозняк неустройства
пронизал допотопный уют,
и вокруг неумело и просто
умирают, носят, живут

Люблю погоду, Высшую Погоду.
Люблю, когда не думаю о ней,
когда она похожа на музей,
куда не ходишь, может быть, по году -
но ездишь мимо... едешь на работу

и видишь: очередь, раскрытые зонты.
Угрюмое стяжанье Красоты.
Штурмуемые бледные высоты.

После Чернобыля

1.

Белорусские беженцы в нашей квартире –
голодные дети, и в первые дни,
как тени, выскользывали; входили
неслышными с улицы; спали в тени
патриотических музык вечерних.
Сумерки полувоенных программ
были защитой – как на ученьях,
нестрашно стреляют, и снаряды летят не к нам...

2.

Но горизонте гнал Чернобыль
сухую пыль. Черней, чем небыль,
шли слухи толпами, и тополь
чернел под лучезарным небом,
как перст ушедшего под почву
пророка – молча указуя
на слепо-вдавленную точку
среди бессмысленной лазури.

3.

Пища делается хуже.
Хлоркой отдает вода.
Словом, всё, что есть снаружи,
катится невесть куда,
в механическую прорву...

Но зачем-то брезжит свет
в сердце пепельном, бескровном,
бессловесном от бесед.

4.

Письма - самое живое,
что останется от них.
Я хотел бы лечь травою
в буреломе, в чаще книг.
Лечь фигурой умолчанья:
знаешь ли? - Я не знаком.
веришь ли? - Я не вмещаю
слова... соль под языком.

5.

Звезду-Полынь из наших разговоров
не извести, о чем бы ни зашла
сегодня речь - активная зола,
фосфоресцирующий ворох
украинских черешен, воровски
доставленных сюда и проданных украдкой,
когда в тоске по жизни кисло-сладкой
мы обступили вожделенные лотки.

Доможозяйка спрашивает, странно
прищурясь: "Не из тех ли это мест,
где от радиоактивного тумана
спасенья нет?..." И на плакат про съезд
перекрестясь, торговка разбитная
"Ни! - уверяет, - Боже...", заслоняя
прямоугольный униатский крест
ладонью пухлою с тяжелыми перстнями.

6.

Егеря с ротвейлерами на склоне горы.
Чёрные простыни – здесь горела трава.
И я горю, я сгораю не от жары –
но как зерна, попавшие под жернова.
Каменный диск небесный вращается наверху,
перетирая в сухую соловатую персть,
в нежную нечеловеческую труху
эти горы запретные – нету их, даже когда они есть.
Издали вижу дыры оскаленных бухт,
лицебородные скалы, забывшие имя свое,
цепь егерей... Какой же смертельный продукт
они охраняют? уничтожение ѿ?

Тема и вариации

I.

Стена поросла шерстью.
Дикие трещины воют
по-волчьи.

Назовем это "римский пейзаж":
пиния, голодные дети,
богатая американка
арендует виллу с террасой,
откуда открывается вид
на шестнадцатый век
от Рождества Христова.

Русский изограф
/само стеснение, бука –
слова не вытянешь
пыточными клещами/
молча является,
молча садится у двери,

смотрит куда-то в угол.
Молча откланивается,
когда стемнеет.
Уходит работать.

Рассказывали /не помню,
кто из гостей/:
у него грандиозный
сверхчеловеческий план –
полотно, воплотившее Слово
в чувственный образ...
Если чахотка не свалит!

2.

Стена заросла шерстью.

Истина принимает
звериный облик –
дыханье сырое,
жаркое.

В Раю, где Лев и Ягненок,
стоя на задних лапах,
передними обнялись,
морды сблизили, смотрят
в одну и ту же, и ту
незримую точку –
сюда,

где сами стены мохнаты,
где место пустое
в центре...

Двадцать лет спустя

I. Люди за оградой

Льняные, ленивые — нет, полинялые флаги!
Белые были, наверное, красные были...
Странно, за что этот временный воздух любили
дети в автобусах, дети, везомые в лагерь...

Розовый гравий хрустел под сандалиями. Хрипло
пела труба у трибуны дощатой,
где по некрашеной мачте, как фантик разжатый,
 знамя толчками ползло — и над соснами гибло.

Утро унылое, серое, с музычкой бодрой —
то заглушавшей кукушечью дальнюю жальбу,
то затихавшей... Как тихо! Подобное залпу
тресканье дятлов, скрипение веток, столовские ведра...

Кто из нас думал, построившись тогда по-отрядно,
что и за четверть столетья ничто не изменится в этих
влажных местах, при елово-игольчатом свете,
в белых ли, красных ли, синих ли вышветших пятнах?

Разве при имени Блока сознанье мое не светлело?
Только что изданный Хлебников разве ладоней
не опалил навсегда? В типографском баллоне
разве душа не взрывалась, предчувствуя новое тело?

Утро унылое, мелкое... Не потому ли,
что за оградой, казалось, огромные люди блуждают:
там, за деревьями — верилось — ветер да поле...
Поле всего-то и ветер — а дух замирает.

2. На линейке

Крейсерский бор. Канонерский подлесок.
Дюны в разрывах десантных осок.
Отдых свистит, неестественно резок,

Реет залив над землей отчужденной.
На горизонте — кронштадтский нарыв,
купол собора, бугор воспаленный...
Дальше — пространства раскрыв —

артиллерийские светлые стереодали
стелются... Дальше — крестный прицел
в круге подзорном, куда попадали,
когда надрывался, фальшивил, хрипел

горы ослепительный, медный, помятый...
Строились. И над линейкой плыла
юная смерть, и легка, и крылата.
Дева с лицом пионерской вожатой,
белым, сожженным дотла.

3. В тире

Довоенное закрыли казино.
Превратили в бункер винный ледник.
Спорото линялое сукно
со столов игорных, летних.

Сколько из него пошито гимнастерок!
сколько воинских штанов — не сосчитать!
На курортный мусор наползает морок.
Полдевицы смотрят с пляжного щита.

Было женское — теперь мужское время.
Пусть надеются, томятся, ждут:

заскрипят ремни, запахнет кожей, семя
брьжет — и солдаты новые ~~прощущи~~ взойдут.

Первое, что помню — патефон из тира.
Однорукий тирщик под эмблемой ДОСААФ.
Духовая, пневматическая сила
переполнила пустой его рукав —
и со щелканьем счастливым исходила.

Кто из них, фанерных, — Тито или Даллес —
Вверх тормашками летит?
Кто из нас, живых, прицелился, притих,
с каждым залпом заново рождаясь?
